

УДК 821.133.1-31
ББК 84 (4Фра)-44
Б21

Серия «Эксклюзивная классика»

Серийное оформление *Е. Ферез*

Компьютерный дизайн *А. Чаругиной*

Бальзак, Оноре де.

Б21 Неведомый шедевр : [сборник] / Оноре де Бальзак. — Москва : Издательство АСТ, 2019. — 384 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-093740-0

«Эликсир долголетия». У смертного одра своего отца величайший из соблазнительей и циников Дон Жуан становится обладателем и хранителем великого и опасного магического артефакта...

«Неведомый шедевр». Старый художник всю жизнь посвятил созданию одного-единственного шедевра — загадочного портрета, который он не показывает никогда и никому...

«Поиски абсолюта». Знатный фламандец, одержимый тайнами познания, готов ради них на все: на расточительство, одиночество, разрыв с близкими и даже на преступление...

«Прощенный Мельмот». Вот уже много веков странствует по миру бессмертный Мельмот-Скиталец. Кто же согласится принять его бессмертие, а с ним вместе и его проклятие?

Перед вами четыре поразительные новеллы, входящие вместе с «Шагреневой кожей» в цикл «Философские этюды».

УДК 821.133.1-31
ББК 84 (4Фра)-44

ISBN 978-5-17-093740-0

© ООО «Издательство АСТ», 2019

ЭЛИКСИР ДОЛГОЛЕТИЯ

Зимним вечером дон Хуан Бельвидеро угощал одного из князей д'Эсте в своем пышном феррарском палаццо. В ту эпоху праздник превращался в изумительное зрелище, устраивать которое мог лишь неслыханный богач или могущественный князь. Семь женщин вели веселую приятную беседу за столом, на котором горели благовонные свечи; по сторонам на красной облицовке стен выделялись беломраморные изваяния и контрастировали с богатыми турецкими коврами. Одетые в атлас, сверкающие золотом, убранные драгоценными камнями — менее яркими все же, чем их глаза, — всем своим видом эти семь женщин повествовали о страстях, одинаково сильных, но столь же разнообразных, сколь разнообразна была их красота. Их слова, их понятия сходились между собой, но выражение лица, взгляд, какой-нибудь жест или оттенок в голосе придавали их речам свой характер беспутный, сладострастный, меланхолический или задорный.

Казалось, одна говорила: «Моя красота согреет оледенелое сердце старика».

Другая: «Мне приятно лежать на подушках и опьяняться мыслью о тех, кто меня обожает».

Третья, еще новичок на этих празднествах, краснела: «В глубине сердца слышу голос совести! Я католичка и боюсь ада. Но вас я так люблю, так люблю, что ради вас готова пожертвовать и вечным спасением».

Четвертая, опустошая кубок хиосского вина, восклицала: «Да здравствует веселье! С каждой зарей обновляется моя жизнь. Не помня прошлого, каждый вечер, еще пьяная после вчерашних поединков, я снова до дна пью блаженную жизнь, полную любви!»

Женщина, сидевшая возле Бельвидеро, метала на него пламя своих очей, но безмолвствовала. «Мне не понадобятся *bravi**, чтобы убить любовника, ежели он меня покинет!» Она смеялась, но ее рука судорожно ломала чеканную золотую бонбоньерку.

— Когда станешь ты герцогом? — спрашивала шестая у князя, сверкая хищной улыбкой и очами, полными вакхического бреда.

— Когда же твой отец умрет? — со смехом говорила седьмая, пленительным, задорным движением кидая в дона Хуана букет. Эта невинная девушка привыкла играть всем священным.

— Ах, не говорите мне о нем! — воскликнул молодой красавец дон Хуан Бельвидеро. — На свете есть только один бессмертный отец, и, на беду мою, достался он именно мне!

Крик ужаса вырвался у семи феррарских блудниц, у друзей дона Хуана и самого князя. Лет через двести, при Людовике XV, франты расхохотались бы над подобной выходкой. Но, может быть, в на-

* Наемные убийцы (*ut.*).

чале оргии еще попросту не совсем замутились души? Несмотря на пламя свечей, на страстные возгласы, на блеск золотых и серебряных ваз, на хмельное вино, несмотря на то что взорам являлись восхитительнейшие женщины, — может быть, сохранялась в глубине этих сердец чуточка стыда перед людским и Божеским судом — до тех пор, пока оргия не затопит ее потоками искрометного вина! Однако цветы уже измялись и глаза стали шалыми — опьянели уже и сандалии, как выражается Рабле. И вот в тот миг, когда господствовало молчание, открылась дверь и, как на пиршестве Валтасара, явился сам дух Божий в образе старого седого слуги с нетвердой походкой и насупленными бровями. Он вошел уныло, и от взгляда его поблекли венки, кубки рдеющего вина, пирамиды плодов, блеск празднества, пурпуровый румянец изумленных лиц и яркие ткани подушек, служивших опорой женским белым плечам. И весь этот сумасбродный праздник подернулся флером, когда слуга глухим голосом произнес мрачные слова:

— Ваша светлость, батюшка ваш умирает...

Дон Хуан поднялся, послав гостям молчаливый привет, который можно было истолковать так: «Простите, подобные происшествия случаются не каждый день».

Нередко смерть близких застает молодых людей среди праздника жизни, на лоне безумной оргии. Смерть столь же прихотлива, как своенравная блудница, но смерть более верна и еще никого не обманула.

Закрыв за собой дверь зала и направившись по длинной галерее, темной и холодной, дон Хуан пытался принять надлежащую осанку: ведь, войдя

в роль сына, он вместе с салфеткой отбросил свою веселость. Чернела ночь. Молчаливый слуга, провожавший молодого человека к спальне умирающего, настолько слабо освещал путь своему хозяину, что смерть, найдя себе помощников в стуже, безмолвии и мраке, а может быть, и в упадке сил после опьянения, успела навеять на душу расточителя некоторые размышления: вся его жизнь возникла перед ним, и он стал задумчив, как подсудимый, которого ведут в трибунал.

Отец дона Хуана, Бартоломео Бельвидеро, девяностолетний старик, большую часть своей жизни потратил на торговые дела. Изъездив вдоль и поперек страны Востока, прославленные своими талисманами, он приобрел там не только несметные богатства, но и познания, по его словам, более драгоценные, чем золото и бриллианты, которыми он уже не интересовался. «Для меня каждый зуб дороже рубина, а сила дороже знания», — улыбаясь, восклицал он иногда. Снисходительному отцу приятно было слушать, как дон Хуан рассказывал о своих юношеских проделках, и он шутивно говаривал, осыпая сына золотом: «Дитя мое, занимайся только глупостями, забавляйся, мой сын!» То был единственный случай, когда старик любит юношей; с отеческой любовью взирая на блистательную жизнь сына, он забывал о своей дряхлости. В прошлом, когда уже достиг шестидесятилетнего возраста, Бартоломео влюбился в ангела кротости и красоты. Дон Хуан оказался единственным плодом этой поздней и кратковременной любви. Уже пятнадцать лет оплакивал старик кончину милой своей Хуаны. Многочисленные его слуги и сын объясняли стариковским горем странные привычки, которые он

усвоил. Удалившись в наименее благоустроенное крыло дворца, Бартоломео покидал его лишь в самых редких случаях, и даже дон Хуан не смел проникнуть в его апартаменты без особого разрешения. Когда же добровольный анахорет проходил по двору или по улицам Феррары, то казалось, что он чего-то ищет: он ступал задумчиво, нерешительно, озабоченно, подобно человеку, борющемуся с какой-нибудь мыслью или воспоминанием. Меж тем как молодой человек давал пышные празднества и палатцо оглашалось радостными кликами, а конские копыта стучали на дворе и пажи ссорились, играя в кости на ступеньках лестницы, Бартоломео за целый день съедал лишь семь унций хлеба и пил одну лишь воду. Иногда полагалось подавать ему птицу, но лишь для того, чтобы он мог бросить кости своему верному товарищу — черному пуделю. На шум он никогда не жаловался. Если во время болезни звук рога и лай собак нарушали его сон, он ограничивался словами: «А, это дон Хуан возвращается с охоты!» Никогда еще не встречалось на свете отца столь покладистого и снисходительного, поэтому, привыкнув бесцеремонно обращаться с ним, юный Бельвидеро приобрел все недостатки избалованного ребенка; как блудница с престарелым любовником, держал он себя с отцом, улыбкой добиваясь прощения за наглость, торгуя своей нежностью и позволяя себя любить. Мысленно восстанавливая картины юных своих годов, дон Хуан пришел к выводу, что доброта его отца безупречна. И, чувствуя, пока он шел по галерее, как в глубине сердца рождаются угрызения совести, он почти прощал отцу, что тот зажил на свете. Он вновь обретал в себе сыновнюю почтительность, как вор готовится стать чест-

ным человеком, когда предвидит возможность пожить на припрятанные миллионы. Вскоре молодой человек достиг высоких и холодных залов, из которых состояли апартаменты его отца. Вдоволь надышавшись сыростью, затхлостью, запахом старых ковровых обоев и покрытых пылью и паутиной шкафов, он очутился в жалкой спальне старика, перед тошнотворно пахнущей постелью возле полуугасшего очага. На столике готической формы стояла лампа и время от времени освещала ложе вспышками света то ярче, то слабее, каждый раз по-новому обрисовывая лицо старика. Сквозь плохо прикрытые окна свистел холодный ветер, и снег хлестал по стеклам с глухим шумом. Эта картина создавала такой резкий контраст празднику, только что покинутому доном Хуаном, что он не мог сдержать дрожи. А затем его пронизал холод, когда он подошел к постели и при сильной вспышке огня, раздуваемого порывом ветра, обозначилась голова отца: черты лица его уже осунулись, а кожа, плотно обтянувшая кости, приобрела страшный зеленоватый цвет, еще более заметный из-за белизны подушки, на которой покоилась голова старика; из полуоткрытого и беззубого рта, судорожно сведенного болью, вырывались вздохи, сливавшиеся с воем метели. Даже в последние мгновения жизни его лицо сияло невероятным могуществом. Высшие духовные силы боролись со смертью. Глубоко впавшие от болезни глаза сохраняли необычайную живость. Своим предсмертным взглядом Бартоломео как бы старался убить врага, усевшегося у его постели. Острый и холодный взор был еще страшнее из-за того, что голова оставалась неподвижной и напоминала череп на столе у медика. Под складками одеяла ясно вырисовыва-

лось тело старика, такое же неподвижное. Все умерло, кроме глаз. Невнятные звуки, исходившие из его уст, носили какой-то механический характер. Дон Хуан немножко устыдился, что подходит к ложу умирающего отца, не сняв с груди букета, брошенного ему блудницей, принося с собой благоухание праздника и запах вина.

— Ты веселился! — воскликнул отец, заметив сына.

В ту же минуту легкий и чистый голос певицы, которая пела на радость гостям, поддержанный аккордами ее виолы, возобладал над воем урагана и донесся до комнаты умирающего... Дону Хуану хотелось бы заглушить этот чудовищный ответ на вопрос отца.

Бартоломео сказал:

— Я не сержусь на тебя, дитя мое.

От этих нежных слов не по себе стало дону Хуану, который не мог простить отцу его разящей как кинжал доброты.

— О, как совестно мне, отец! — сказал он лицемерно.

— Бедняжка Хуанино, — глухо продолжал умирающий, — я всегда был с тобою так мягок, что тебе незачем желать моей смерти!

— О! — воскликнул дон Хуан. — Я отдал бы часть своей собственной жизни, только бы вернуть жизнь вам!

«Что мне стоит это сказать! — подумал расточитель. — Ведь это все равно что дарить любовнице целый мир!»

Едва он так подумал, старый пудель залаял так, что от его лая задрожал дон Хуан: казалось, пес проник в его мысли.

— Я знал, сын мой, что могу рассчитывать на тебя! — воскликнул умирающий. — Я не умру. Да, ты будешь доволен. Я останусь жить, но это не будет стоить ни одного дня твоей жизни.

«Он бредит», — решил дон Хуан, а вслух произнес:

— Да, мой обожаемый отец, вы проживете еще столько, сколько проживу я, ибо ваш образ непрестанно будет пребывать в моем сердце.

— Не о такой жизни идет речь, — сказал старый вельможа, собираясь с силами, чтобы приподняться на ложе, ибо в нем возникло вдруг подозрение — одно из тех, что рождаются лишь в миг смерти. — Выслушай меня, мой сын, — продолжал он голосом, ослабевшим от этого последнего усилия, — я отказался бы от жизни так же неохотно, как ты — от любовниц, вин, коней, соколов, собак и золота...

«Разумеется», — подумал сын, становясь на колени у постели и целуя мертвенно-бледную руку Бартоломео.

— Но, отец мой, дорогой отец, — продолжил он вслух, — нужно покориться воле Божьей.

— Бог — это я! — пробормотал в ответ старик.

— Не богохульствуйте! — воскликнул юноша, видя, какое грозное выражение появилось на лице старика. — Остерегайтесь, вы удостоились последнего миропомазания, и я не мог бы утешиться, если бы вы умерли без покаяния.

— Выслушай же меня! — воскликнул умирающий со скрежетом зубным.

Дон Хуан умолк. Воцарилось ужасное молчание. Сквозь глухой свист ветра еще доносились аккорды виолы и прелестный голос, слабые, как утренняя заря. Умирающий улыбнулся.

— Спасибо тебе, что пригласил певиц, что при-
вел музыкантов! Праздник, юные и прекрасные
женщины, черные волосы и белая кожа! Все насла-
ждения жизни. Вели им остаться, я оживу...

«Бред все усиливается», — подумал дон Хуан.

— Я знаю средство воскреснуть. Поищи в ящи-
ке стола, открой его, нажав пружинку, прикрытую
грифом.

— Открыл, отец.

— Возьми флакон из горного хрусталя.

— Он в моих руках.

— Двадцать лет потратил я на... — В эту минуту
старик почувствовал приближение конца и собрал
все силы, чтобы произнести: — Как только я испу-
щу последний вздох, тотчас же натри меня всего
этой жидкостью, и я воскресну.

— Здесь ее не очень много, — ответил юноша.

Хотя говорить уже не мог, Бартоломео сохранил
способность слышать и видеть. В ответ на слова
сына голова старика с ужасной быстротой поверну-
лась к нему, и шея застыла в этом повороте, как
у мраморной статуи, которая, по мысли скульптора,
обречена смотреть в сторону; широко открытые
глаза приобрели жуткую неподвижность. Он умер,
умер, потеряв свою единственную, последнюю ил-
люзию. Пытаясь найти убежище в сердце сына, он
обрел могилу глубже той, которую выкапывают для
покойников. И вот ужас разметал его волосы, а гла-
за, казалось, говорили. То был отец, в ярости взы-
вавший из гробницы, чтобы потребовать у Бога
отмщения!

— Эге! Да он кончился! — воскликнул дон Хуан.

Спеша поднести к свету лампы таинственный
хрустальный сосуд подобно пьянице, который смо-

третит на свет бутылку в конце трапезы, он и не заметил, как потускнели глаза отца. Раскрыв пасть, пес поглядывал то на мертвого хозяина, то на эликсир, и точно так же сын смотрел поочередно на отца и на флакон. От лампы лился мерцающий свет. Все вокруг молчало, виола умолкла. Бельвидеро вздрогнул: показалось, что отец шевельнулся. Испуганный застывшим выражением глаз-обвинителей, он закрыл отцу веки; так закрывают ставни, если они стучат на ветру в осеннюю ночь. Дон Хуан стоял прямо, неподвижно, погруженный в целый мир мыслей. Резкий звук, подобный скрипу ржавой пружины, внезапно нарушил тишину. Захваченный врасплох, дон Хуан едва не выронил флакон. Вдруг его с ног до головы обдало потом, который был холоднее, чем сталь кинжала. Раскрашенный деревянный петух поднялся над часами и трижды пропел. То был искусный механизм, будивший ученых, когда полагалось им садиться за занятия. Уже порозовели стекла от зари. Десять часов провел дон Хуан в размышлениях. Старинные часы вернее, чем он, исполняли свой долг по отношению к Бартоломео. Их механизм состоял из деревяшек, блоков, веревок и колесиков, а в доне Хуане был механизм, именуемый «человеческое сердце». Чтобы не рисковать потерей таинственной жидкости, скептик дон Хуан вновь спрятал ее в ящик готического столика. В эту торжественную минуту до него донесся из галереи глухой шум, неясные голоса, подавленный смех, легкие шаги, шуршание шелка — словом, слышно было, что приближается веселая компания. Дверь открылась, вошел князь, друзья дон Хуана, семь блудниц и певицы, образуя беспорядочную группу, как танцоры на балу, врасплох захваченные утренними лучами, когда солнце

борется с бледными огоньками свечей. Они все явились, чтобы, как это полагается, выразить наследнику свои соболезнования.

— Ого! Бедняжка дон Хуан, должно быть, принимает эту смерть всерьез? — сказал князь на ухо Брамбилле.

— Но ведь его отец был в самом деле очень добр, — ответила она.

Между тем от ночных дум на лице дона Хуана появилось такое странное выражение, что вся компания умолкла. Мужчины стояли неподвижно, а женщины, хотя их губы иссохли от вина, а щеки, как мрамор, покрылись розовыми пятнами от поцелуев, преклонили колена и принялись молиться. Дон Хуан невольно содрогнулся при виде того, как роскошь, радость, улыбки, песни, юность, красота, власть: все, что олицетворяло жизнь, — пало ниц перед смертью. Но в восхитительной Италии беспутство и религия сочетались друг с другом так легко, что религия становилась беспутством и беспутство — религией! Князь сочувственно пожал руку дону Хуану; потом на всех лицах мелькнула одна и та же полупечальная-полуравнодушная гримаса, и фантазмагорическое видение исчезло, зал опустел. То был образ самой жизни. Сходя по лестнице, князь сказал Ривабарелле:

— Странно! Кто бы подумал, что дон Хуан мог похвастаться безбожием? Он любит отца.

— Обратили вы внимание на черного пса? — спросила Брамбилла.

— Богатствам его счету нет теперь, — со вздохом заметила Бьянка Каватолино.

— Велика важность! — воскликнула горделивая Варонезе, та самая, которая сломала бонбоньерку.

— Велика ли важность? — воскликнул герцог. — Благодаря своим червонцам он стал таким же могущественным властелином, как я!

Сначала дон Хуан, колеблясь между тысячью мыслей, не знал, какое решение принять. Но советчиками его сделались скопленные отцом сокровища, и, когда он вернулся вечером в комнату покойника, душа его была уже чревата ужасающим эгоизмом. В зале слуги подбирали украшения для того пышного ложа, на котором покойной светлости предстояло быть выставленной напоказ, среди множества пылающих свечей, чтобы вся Феррара могла любоваться этим занимательным зрелищем. Дон Хуан подал знак, и челядь остановилась, онемев и дрожа.

— Оставьте меня здесь одного, — сказал он странно изменившимся голосом. — Зайдете сюда потом, когда я выйду.

Лишь только шаги старого слуги, ушедшего последним, замерли вдалеке на каменных плитах пола, дон Хуан поспешно запер дверь и, уверившись в том, что никого, кроме него, здесь нет, воскликнул:

— Попытаемся!

Тело Бартоломео покоилось на длинном столе. Чтобы спрятать от взоров отвратительный труп дряхлого и худого, как скелет, старика, бальзамировщики покрыли тело сукном, оставив открытой одну только голову. Это подобие мумии лежало посреди комнаты, и хоть мягкое сукно неясвенно обрисовывало очертания тела, видно было, какое оно угловатое, жесткое и тощее. Лицо уже покрылось большими лиловатыми пятнами, напоминавшими о том, что необходимо поскорее закончить бальзамирование. Хоть дон Хуан и был вооружен скептицизмом, но,

откупоривая волшебный хрустальный сосуд, дрожал. Когда он приблизился к голове, то был принужден передохнуть минуту, так как его лихорадило. Но его уже в эти юные годы до мозга костей развратили нравы беспутного двора. И вот размышления, достойные герцога Урбинского, придали ему храбрости, поддержанной к тому же острым любопытством; казалось, что сам демон шепнул ему слова, отозвавшиеся в сердце: «Смочи ему глаз!» Он взял полотенце и, осторожно обмакнув самый кончик его в драгоценную жидкость, легонько провел им по правому веку трупа. Глаз открылся.

— Ага! — произнес дон Хуан, крепко сжимая в руке флакон, как мы во сне хватаемся за сук, поддерживающий нас над пропастью.

Он увидел глаз, ясный, как у ребенка, живой глаз мертвой головы. Свет дрожал в нем среди свежей влаги, и, окаймленный прекрасными черными ресницами, он светился подобно тем одиноким огонькам, что зимним вечером видит путник в пустынном поле. Сверкающий глаз, казалось, готов был броситься на дону Хуана; он мыслил, обвинял, проклинал, угрожал, судил, говорил; он кричал; он впивался в дону Хуана. Он был обуреваем всеми страстями человеческими. Он выражал то нежнейшую мольбу, то царственный гнев, то любовь девушки, умоляющей палачей о помиловании, — словом, это был глубокий взгляд, который бросает людям человек, поднимаясь на последнюю ступеньку эшафота. Столько светилось жизни в этом обломке жизни, что дон Хуан в ужасе отступил и прошелся по комнате, не смея взглянуть на глаз, видневшийся ему повсюду: на полу, на потолке, на висевших на стенах коврах. Всю комнату усеяли искры, полные